ОН БЫЛ ПОЭТ ПЕРВОРАЗРЯДНЫЙ

Евгению Рейну

Заблещет вновь рассветная звезда. Мих. Кузмин

Передо мной фотография более полувековой давности... В центре ее пожилой человек с острохарактерным лицом, в очках, галстуке, воротничке на кнопочках; его окружает молодежь, все они чему-то смеются, наверное, фотограф-любитель сумел удачной шуткой оживить группу.

Человека в очках не узнать невозможно. Кто хоть однажды видел один из его портретов (а портретировали его часто, и мастера крупные - Сомов, Сапунов, Судейкин, Анненков, Верейский), тот узнает его облик на любой фотографии, в любом изображении. Это Михаил Алексеевич Кузмин, один из самых блистательных петербургских поэтов "серебряного века", оставшийся на охваченной революционным пожаром родине, заживо похороненный затем рапповской и околорапповской критикой (пародийная иллюстрированная панорама литературы тех лет: среди мельтешения фигур разного калибра - профили Сологуба, Кузмина, Ахматовой в шкапчике, затянутом паутиной), сумевший все же каким-то чудом выпустить в 1929 году в Ленинграде книгу стихов "Форель разбивает лед", постыдно, преступно не замеченную ни публикой, ни профессионалами, живший на грани нищеты и зарабатывавший на хлеб насущный переводами в не слишком официально жаловавшемся издательстве "Academia".

По левую руку от Кузмина белозубо улыбается совсем молодой тогда поэт Сергей Спасский, над ним - горькая усмешка Юрия Юркуна, литератора и рисовальщика, спутника жизни Кузмина, ниже беззаботно смеется подруга Юркуна Ольга Гильдебрандт (по сцене Александринского театра - Арбенина), к этому времени уже бросившая сцену и посвятившая себя живописи. С другой стороны, внизу, можно узнать первую жену Спасского, нетрудно пока еще, наверное, опознать и остальных участников группы. Приближается буря 1937 года (Кузмина она пощадила - он умер шестидесяти трех лет, в самый ее канун, 1 марта 1936 года), но все охвачены минутным весельем, и только, быть может, в вещем взгляде и скупой улыбке Юркуна сквозит предчувствие страшной судьбы ("десять лет без права переписки" 21 сентября 1938 года - эта формула расстрела, о которой напомнил недавно фильм Абуладзе, и сейчас, полвека спустя, способна заставить плакать камни). Потом, уже после войны, отправится в ссылку Спасский. Но это потом... А пока им весело... Старому поэту хорошо с молодежью, молодежи лестны дружба и расположение маститого мэтра.

Впрочем, маститый и мэтр он только для нас. Этот человек высочайшей культуры, блестящий знаток языков, итальянской литературы и искусства, античной философии, профессиональный композитор, влюбленный вместе с другом своей юности Георгием Васильевичем Чичериным в древнее церковное пение, но сочинявший и салонные романсы ("Дитя, не тянись ты весною за розой..."), и оперетты, и - после революции - синкопированную музыку (шимми для "Эугена Несчастного" Толлера в Александринке), меньше всего был способен "подавать себя", "принимать позы", "играть роль". В том кругу, где он воспитывался, - а он принадлежал к старинному дворянскому роду Ярославской губернии, был потомком моряков русского парусного флота, - стилизация своей личности под кого бы то ни было: под Рашель, под молодого Пушкина ли воспринималась бы признаком дурного тона, которого Михаил Алексеевич тщательно избегал.

Обладая познаньями не меньшими, чем познанья Брюсова, он никогда не щеголял своей эрудицией ни в стихах, ни в критических статьях. Первым осуществив поворот русской лирики от символистических туманностей или декадентской риторики к поэзии

повседневности, он писал изумительные, редкие по естественности, непринужденности, свободе и легкости дыхания стихи, не возвещая громогласно "городу и миру" о своем происхождении от Данте, Вийона, Шекспира и Теофиля Готье. Зато Хлебников называл его своим учеником, зато в советское время к нему ходили на поклон Пастернак и Багрицкий, зато его находками питались Маяковский и Ахматова (о том, что не только "сюжет", но и расславленная на весь свет "колдовская" ритмика "Поэмы без героя" взяты из "Форель разбивает лед", было ясно любому, читавшему этот сборник и до появления иных диссертаций, "на всё проливающих свет").

Как это ни странно, в стремлении "сдать в архив" Кузмина с оголтелыми рапповскими борзописцами соперничали бывшие акмеисты, в рядах которых без достаточных оснований поначалу числили и Кузмина. Не кто иной, как Осип Мандельштам, в статье 1923 года "Буря и натиск", напечатанной в стремительно возникшем и стремительно прекратившемся журнале "Русское искусство", зачислил Кузмина в разряд малых поэтов, что-то вроде Тибулла или Проперция в римской литературе. В утверждении своей "незыблемой скалы" ценностей акмеисты были тем безжалостнее, чем больше чувствовали себя еще не полностью отвечающими, скажем так, своему идеалу мастеров мировой культуры. В действительности же, а это начали понимать наиболее проницательные критики русской поэзии уже с 50-х годов (Владимир Марков), в лице Кузмина мы имеем дело не с малым, а перворазрядным поэтом, равновеликим с Батюшковым и Фетом в прошлом веке, с Пастернаком и Ахматовой в нынешнем.



Михаил Кузмин среди молодежи



Михаил Кузмин. Автолитография Георгия Верейского. 1929

Пришло время широко издавать его поэзию, да и прозу (неровную, но имеющую свои взлеты - среди повестей Блок отмечал "чудесные" кузминские "Крылья", найдет своего читателя и внешне безыскусный роман "Плавающие, путешествующие" с его едким изображением нравов петербургской богемы в "последнюю зиму перед войной"). Время жестоко обошлось с литературным наследием Кузмина - утрачена рукопись его последнего, неизданного сборника стихов, затерялся след полного кузминского перевода сонетов Шекспира, держится под архивным замком его дневник, не уступающий по своему историко-литературному значению дневникам братьев Гонкур или Андрэ Жида (хотя и иного, чем у них, характера). Но кое-что из неопубликованного уцелело в частных руках.

Судьба распорядилась так, что немногочисленные, но верные друзья поэзии Кузмина не смогли отметить ни 100-летие со дня его рождения в 1972-м, ни 50-летие со дня его смерти в 1986 году. Всякий раз с чувством щемящей боли уходишь с его неухоженной, передвинутой на новое место, с разбитой плитой могилы на Волковом кладбище в Ленинграде (это едва ли не кенотаф; после войны кладбище «упорядочивалось», и было сочтено, что родственникам Ленина приличествует «мемориал», а посему близлежащие захоронения были или уничтожены, или, что весьма проблематично, перенесены). Сейчас как будто что-то меняется. Прошел вечер памяти Кузмина в московском Доме литераторов, готовится его избранное в "Советской России", исполняются песни на его стихи... Станет ли Кузмин знаменитым? Присутствуем ли мы при рождении "кузминской волны"? Возможно. Повлияет ли ее подъем и неизбежный затем спад на его место в истории российской словесности? Никоим образом. Почетное место было занято им сразу и навсегла.